

Т. Л. МОТЫЛЕВА

ДВА ВЗГЛЯДА НА ДОСТОЕВСКОГО:
М. ДЕ ВОГЮЭ И ДЬЕРДЬ ЛУКАЧ

Сто лет назад, в 1886 г., вышла в Париже книга, которой предстояло сыграть активную роль в распространении и изучении русской литературы за рубежом: «Русский роман» М. де Вогюэ. Десятилетия спустя, вскоре после разгрома фашизма, вышла в Будапеште, а затем в Берлине, книга Д. Лукача «Русский реализм в мировой литературе». Она стала в первые послевоенные годы одним из основополагающих пособий для молодой русистики социалистических стран; со временем она получила известность и за пределами социалистического мира (например, в ФРГ, где она появилась отдельным томом в Собрании сочинений Лукача). В обе эти книги входит, в качестве отдельной главы, творческий портрет Достоевского.

Понятно, насколько различны эти работы не только по времени написания, не только по идейной позиции авторов, но даже и по манере письма: книга Вогюэ написана в живом эссеистском тоне, обращена к широкому кругу читателей, а труд Лукача, как и все его труды, носит характер строго научный. Однако сопоставление обеих этих книг, и в частности глав о Достоевском, не столь случайно, не столь произвольно, как это может показаться на первый взгляд. Тут есть общая основа. Оба автора, каждый на свой лад, убежденно отстаивают тезис о мировом значении русской литературы, точнее — русского реалистического романа. Для обоих авторов Достоевский — не главный предмет исследовательского интереса, гораздо ближе и дороже им Толстой. Но и в Достоевском они видят выражение характерных родовых черт русского реализма. А в различии, можно даже сказать, в противоположности их взглядов на Достоевского проявляется несходство и противоборство тенденций, живущих в зарубежной русистике вплоть до наших дней.

Достоинства и недостатки книги М. де Вогюэ у нас не раз отмечались, — тут неизбежно приходится отчасти повторяться. Самым новым, неожиданным для современников в этой книге было утверждение: «... влияние великих русских писателей будет спасительным для нашего истощенного искусства; оно поможет ему снова обрести крылья, научиться лучше наблюдать реальность, видеть дальше и, главное, найти в себе источники волнения».¹ Вогюэ был первым

¹ *Vogüé E. M., de. Le roman russe. Editions Age d'Homme. Suisse, 1971. P. 65 (далее ссылки в тексте).*

из зарубежных критиков, кто с такой решимостью заговорил о высоких эстетических качествах русского романа. По мысли Вогюэ, русская литература, выйдя из стадии подражательности, «создала и усовершенствовала инструмент, отвечающий ее задачам, реализм; в то время, как Запад проявляет колебания в пользовании этим инструментом, она успешно применяет его в отображении как внешнего, так и душевного мира. Этот реализм подчас страдает недостатком вкуса и порядка, он в одно и то же время и расплывчат, и утончен; но он всегда остается естественным и искренним; он облагорожен прежде всего нравственным волнением, тоской по божественному и сочувствием к человеку. Никто из этих романистов не ставит себе чисто литературных целей; все их творчество определяется тяготением к правде и справедливости» (301).

Сегодня эта суммарная характеристика русской литературы звучит по меньшей мере банально. Но сто лет назад она была воспринята французской читающей публикой как своего рода откровение. И к ней прислушались.

К суждениям Вогюэ французы могли отнестись с тем большим доверием оттого, что он черпал свои сведения из первоисточника: он пять лет прожил в России, изучил русский язык, читал русских писателей в оригинале, был лично знаком с Тургеневым и Достоевским.

Однако виконт де Вогюэ, аристократ и дипломат, женатый на фрейлине русской царицы, тесно связанный, в бытность свою в России, с правящей придворной верхушкой, знал и понимал русскую действительность лишь в меру собственных классовых симпатий. Русское общество рисовалось ему как «патриархальная демократия, растущая под сенью самодержавной власти» (4); в главе о Достоевском он мимоходом замечает, что «император Николай был человеком чутким и гуманным» (218). Революционное движение в России на рубеже 70-х и 80-х гг. представлялось ему явлением наносным и не заслуживающим серьезного внимания; коренными свойствами русской нации он считал богобоязненность, смирение, пассивность. Много раз по ходу своих разборов он говорит об азиатских, иногда даже «буддистских» чертах русского национального характера. Это определяет и его взгляд на русскую литературу. Шведский исследователь М. Рёль, автор серьезной монографии о Вогюэ, отметил, что он не читал журнала «Современник», не знал работ Чернышевского, вообще не проявил никакого интереса к острым социально-критическим мотивам, заложенным в самой сути русского реализма. Отсюда вывод Рёля: «Книга, которая открыла дорогу в Европу Толстому и Достоевскому, в конечном счете представляет собой мистификацию».² Это сказано резко, но тут есть зерно истины.

Сочетание восторга и предвзятости особенно явственно сказывается в главе книги Вогюэ, посвященной Достоевскому, начиная

² Røhl M. Le roman russe de Eugène-Melchior de Vogüé. Stockholm, 1976. P. 94.

с первой фразы: «Вот он, скиф, настоящий скиф, который внесет переворот во все наши умственные привычки» (207). В таком свете выделась Вогюэ и сама личность писателя. Французский литературовед П. Паскаль в предисловии к новому изданию «Русского романа» приводит строки из дневника Вогюэ, написанные под впечатлением встречи с Достоевским: «Любопытный тип русского упряма, считающего себя глубже всей Европы оттого, что в нем больше путаницы. Смесь *медведя* и *ежа* (оба эти слова написаны латинскими буквами по-русски. — Т. М.). Одержимость, позволяющая измерить, до каких крайностей дойдет славянский дух в предстоящем ему великом движении в глубь самого себя. В нас есть дух всех народов и сверх того русский дух, говорит Достоевский, значит, мы можем вас понять, а вы не можете нас понять!» (13).

Однако смысл анализа произведений Достоевского у Вогюэ, конечно, не сводится к этой более чем упрощенной характеристике. В его разборах «Бедных людей», «Записок из Мертвого дома», «Преступления и наказания» преобладает тон восхищенного изумления, — критик потрясен силой русского мастера, глубиной его психологизма: душевный мир Макара Деушкина и Вареньки Доброселовой раскрывается перед нами так, «как будто бы мы прожили годы вместе с ними» (216). Пересказывая, пространно цитируя «Записки из Мертвого дома», критик высоко оценивает эту книгу как «удар набата, ускоривший реформу» (230). Менее однозначно его суждение о «Преступлении и наказании»: «Люди науки, посвятившие себя изучению человеческой души, с интересом прочтут эту по психологии преступления, самый глубокий, какой был написан со времен „Макбета“» (236). Но, добавляет тут же Вогюэ, многих читателей этот роман отпугнет, и они не смогут прочесть его до конца... Ведь он требует «усилий внимания и памяти никак не меньших, чем потребовал бы трактат по философии» (241). Да и самим своим содержанием, утверждает Вогюэ, роман способен вызвать при первом знакомстве своего рода шок. «Гофман, Эдгар По, Бодлер, все классики тревожного образца, какие были нам известны до сих пор, в сравнении с Достоевским просто выдумщики. В их вымышленных сюжетах угадывается литературная игра; в „Преступлении и наказании“ мы чувствуем, что сам автор, как и мы, в ужасе от персонажа, которого он извлек из собственной души» (237). Нравственный вывод, следующий из романа, это, по словам Вогюэ, «понимание сути христианства, присущее русскому народу: благотворность страдания самого по себе, особенно страдания, переносимого совместно с другими и представляющего единственно возможный выход из всех трудностей» (239). Стоит добавить, что очерк о Достоевском в книге Вогюэ так и назван: «Религия страдания».

Журнальную публикацию этого очерка (1883) Вогюэ готовил вскоре после того, как «Преступление и наказание» появилось впервые во французском переводе. В личном письме он жаловался на трудность работы, для которой ему пришлось прочитать в оригинале все 14 томов Достоевского. «Но ведь нужно же ввести в наш оби-

ход еще одного русского романиста, третьего из великой троицы: Тургенев, Толстой, Достоевский. Это огромный человек; я не думаю, чтобы он завоевал здесь такой же успех, как Толстой, но и у него уже нашлись почитатели-фанатики. Тэн сказал мне на днях, что гг. Золя, Додэ, Гонкуры и прочие не достойны развязать шнурки башмаков у этого человека...»³ После выхода очерка, в январе 1885 г., Вогюэ записал в дневник: «Я попал в цель, по общему мнению, это самое сильное, что мне удалось сделать. И человек и его романы вызывают любопытство. „Преступление и наказание“ захватило всех».⁴

Слово «любопытство» тут очень кстати: очерк Вогюэ мог понравиться широкой публике уже потому, что впервые знакомил ее — притом в изящной и общедоступной форме — не только с романами Достоевского, но и с его необычной судьбой. Читателей литературно образованных могли привлечь и отдельные меткие наблюдения Вогюэ над поэтикой Достоевского, например брошенное мимоходом замечание о музыкальности структуры его романов, в которых одна и та же тема или мотив могут повторяться в разных тональностях.

Однако разбор произведений, написанных после «Преступления и наказания», сделан у Вогюэ торопливо и поверхностно, с нарастающей интонацией предубежденности: «После этой книги талант прекратил свой подъем. Он не раз еще взмахнет крыльями, но — оставаясь в кругу туманов, на фоне все более пасмурного неба, как летучая мышь в сумерки» (243). Вогюэ пытается набросать суммарный портрет персонажей Достоевского: это, как правило, люди неуравновешенные, пассивные, нередко алкоголики, — почти каждый из них, говорит Вогюэ, мог бы заинтересовать «госпожина Шарко» — прославленного психиатра. «Все время писатель возвращается к навязчивой мысли о превосходстве людей страдающих и духовно бедных...» («simples d'esprit» — 245), такие люди «чтут и осеяют ореолом святости идиота, человека бездеятельного», отвечающего их «пессимистической концепции мира» (246).

В романе «Бесы» Вогюэ ценит изображение «нигилистов» — с его точки зрения, безукоризненно точное и даже пророческое; мимоходом он отмечает их преемственную связь с «непреходящим прототипом, циником из „Отцов и детей“» (247), т. е. с Базаровым. О «Братьях Карамазовых» Вогюэ решается утверждать, что «лишь очень немногие русские отважились дочитать до конца эту нескончаемую историю», где, правда, сквозь «густой туман и непростительные отступления» проглядывает «несколько подлинно эпических фигур» (250).

Вогюэ признает, что Достоевский «довел реализм до крайней степени» (251), но в данном контексте трактует термин «реализм» узко, понимает под ним предельную откровенность в изображении

³ Ibid. P. 33.

⁴ Ibid.

мрачных и отталкивающих жизненных явлений — будь то судьба семьи Мармеладовых или жизнь каторжников в Сибири.

Творчество Достоевского, по мысли критика, никак не укладывается в рамки эстетических принципов, привычных для Западной Европы. «Достоевского надо рассматривать как феномен из другого мира, как монстр, ущербный и мощный, единственный в своем роде по оригинальности и глубине переживания» (257).

На примере анализа Достоевского мы особенно наглядно убеждаемся в том, насколько двойственной оказалась роль Вогюэ как пропагандиста русской литературы на Западе. Отчасти именно к Вогюэ восходят критические стереотипы, окрашенные иррационализмом, экзотикой, патологией — и надолго сохранившие свою живучесть.

Как известно, последние десятилетия XIX и начало XX в. ознаменовались в разных странах необычайно бурным интересом к русской литературе, и в частности к Достоевскому. Притом освоение русской литературы — отбор книг для перевода, их освещение в критике — шло в каждой стране своими особыми путями. Примечательно, что острая антибуржуазная направленность Достоевского была впервые осознана и оценена не столько во французской, сколько в немецкой печати, начиная со статей близкого к социал-демократии Р. Швейхеля и теоретиков немецкого натурализма. В этом смысле та отчетливая социальная характеристика реализма Достоевского, которая развернута в статье-очерке Лукача, может быть рассматриваема как развитие традиции, уже давно укрепившейся в немецкоязычной критической литературе.

Однако Лукач проявил повышенное внимание к Достоевскому еще задолго до того, как написал статью о нем, и даже до того, как стал марксистом. В ранней работе Лукача «Теория романа» (1916) Достоевскому посвящено всего несколько строк, но он занимает, в общей концепции этой работы, существенное, можно сказать, ключевое место.

Когда книга «Теория романа» была переиздана после долгого перерыва в 1962 г., Лукач предпослал ей предисловие, где отозвался о своей давней работе очень критически. Она была написана, по его свидетельству, под большим влиянием идеалистических философских течений начала XX в., на основе «духовно-исторической» методологии. И в самом деле: развитие романа предстает в этой книге как имманентное движение, полностью независимое от общественной реальности. Однако в «Теории романа» по-своему сказалось, по словам автора, резкое отрицание социального строя, породившего мировую войну.

И в самом деле: роман интересует теоретика прежде всего как «эпопея мира, покинутого богом»,⁵ отражение строя жизни, подорванного в своих основах. Современный мир, говорит Лукач, пользуясь выражением Фихте, находится в состоянии «завершенной греховности» («die vollendeten Sündhaftigkeit»). Развертываемая

⁵ Lukács G. Die Theorie des Romans. Darmstadt; Neuwied, 1962. S. 77.

здесь Лукачем антитеза эпопеи и романа отчасти предвосхищает позднейшие суждения М. Бахтина: эпос — торжество гармонии, покоя, «тотальная» картина мира, а роман — стихия поисков, беспокойства. Однако, по Бахтину, эта стихия продолжающихся поисков благоприятна для искусства романа, дает основу для постоянных художественных новаций, а по Лукачу, роман именно в силу своей динамической природы несет в себе зерно разрушения. В этом контексте встают перед взором венгерского ученого и великие мастера русского реализма. Толстой и особенно Достоевский оцениваются как зачинатели новой художественной эпохи. Лукач говорит об этом в предисловии к изданию 1962 г.: «„Теория романа“... носит не охранительный, а взрывчатый характер<...> Тот факт, что книга достигает высшей точки в анализе Толстого и завершается Достоевским, который уже писал „не романы, а нечто иное“, отчетливо показывает, что тут недвусмысленно ожидалось рождение не новой литературной формы, а нового мира».⁶ Еще более определенно сказал он об этом в автобиографическом интервью, опубликованном посмертно: «Толстой и Достоевский вразумили нас в том, как можно осудить общественную систему целиком и полностью. У них речь идет не о том, что капитализм страдает теми или иными недостатками, — нет, по мнению Толстого и Достоевского, вся система, как она есть, бесчеловечна».⁷

Стоит привести заключительные строки книги Лукача «Теория романа»: в них сделана попытка определить — пусть очень смутно и отвлеченно — значение обоих русских классиков, даже не столько в свете истории мировой литературы, сколько в свете судеб современного человечества.

«Роман — форма, свойственная эпохе завершенной греховности, по словам Фихте, и он должен оставаться господствующей формой, пока мир управляется этими созвездиями. У Толстого были заметны предчувствия прорыва в новую мировую эпоху, но они остались полемическими, абстрактными и исполненными тоски.

Лишь в произведениях Достоевского этот новый мир, далекий от какой бы то ни было борьбы против существующего, обрисован как непосредственно увиденная действительность. Поэтому он сам и форма его произведений не включены в настоящие размышления: то, что писал Достоевский, — не романы, а миропонимание, раскрывающееся в его образах, не имеет ничего общего ни в утверждении, ни в отрицании, как с европейской романтикой XIX в., так и с разнообразными, столь же романтическими реакциями против нее. Он принадлежит новому миру. Является ли он Гомером или Данте этого мира или просто создает песни, которые у последующих поэтов, вместе с другими провозвестниками, сплетутся в большое единство, знаменует ли он начало или завершение — это можно выяснить лишь путем анализа формы его произведений. И лишь тогда

⁶ Ibid. S. 14.

⁷ Lukács G. Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog. Frankfurt / a. M., 1981. S. 75.

будет возможно посредством историко-философской интерпретации определить, действительно ли мы готовы выйти из состояния завершенной греховности, или налицо лишь надежды, возвещающие торжество нового, — приметы того, что нарождается, но еще так слабо, что может быть играючи задавлено бесплодной мощью того, что еще существует».⁸

При всей отвлеченности, можно сказать, затуманенности этих суждений молодого Лукача мы видим уже здесь коренное расхождение его с Вогюэ и другими западными русистами подобного склада. Оно не только в том, что книга «Русский роман» носит характер охранительный по отношению к буржуазному миру, а работа Лукача, по его же позднему свидетельству, — характер «взрывчатый». Оно и в том, что для Лукача русский классический реализм — не экзотический феномен, Достоевский (как и Толстой) не аутсайдер европейской культуры, а органическая часть ее. И именно с обоими русскими классиками связывает начинающий венгерский ученый свои надежды на революционное обновление не только России, но и всего мира.

В 1916 г., когда вышла «Теория романа», ее автор, наверное, был как нельзя более далек от мысли о том, что ему было суждено всего три года спустя стать народным комиссаром культуры молодой Венгерской советской республики. И столь же далек от мысли, что ему предстояло гораздо позже, в 30-е и начале 40-х гг., вплотную заняться творчеством русских классиков, живя в качестве политэмигранта в Советском Союзе. Именно работы, написанные в Москве — о Толстом, Достоевском, Горьком, революционных демократах, легли в основу книги «Русский реализм в мировой литературе».

Предисловие к первым изданиям этой книги (датированное 1946 г.) содержит полемические пассажи. Облик русской классической литературы, напоминает Лукач, в глазах западной интеллигенции затемнен ложными толкованиями. «Реакционные идеологи аннексировали величайших русских реалистов, Толстого и Достоевского, они попытались представить их мистиками, далекими от действительности, „аристократами духа“, стоящими в стороне от борьбы их времени. Эта фальсификация образов Толстого и Достоевского должна была подкрепить легенду о мистической „святой Руси“. Эту легенду мы находим не только у ярко выраженных реакционеров, таких, как Мережковский, но и у прогрессивных буржуазных демократов, таких как Масарик».⁹

Реакционная критика, говорит далее Лукач, опирается в интерпретации русских классиков преимущественно на их прямые высказывания по вопросам общественной жизни, политики, религии. Однако творчество этих мастеров может быть понято лишь в связи с изучением тех социальных сил, под влиянием которых оно фор-

⁸ Lukács G. Die Theorie des Romans. S. 137—138.

⁹ Lukács G. Die russische Realismus in der Weltliteratur. Berlin, 1952. S. 5 (далее ссылки в тексте).

мировалось. И вместе с тем и даже прежде всего — на основе анализа объективного содержания их художественных произведений.

Настаивая на том, что главный критерий для оценки идейной позиции писателя — не его прямые публицистические высказывания, а реальный смысл его художественного творчества, Лукач, возможно, полемически отталкивался не только от истолкований Достоевского, привычных на Западе, но и от вульгарно-социологических воззрений, имевших широкое хождение в советской критике довоенных (а также и первых послевоенных) лет. Как известно, именно применительно к Достоевскому эти воззрения проявились очень заметно. «... В 30—40-е гг. в период культа личности Сталина догматизм и авторитарность мышления, сказавшиеся в советском литературоведении, отрицательно отразились на изучении Достоевского... Научным исследованием препятствовали выступления, в которых односторонне характеризовалось творчество Достоевского».¹⁰ Нельзя сказать, чтобы Лукач в своей статье, написанной в 1943 г., вовсе не поддавался инерции таких оценок: политическая позиция писателя-публициста охарактеризована им безоговорочно негативно (притом со ссылкой на суровую критику Достоевского со стороны Горького). Однако в центре внимания Лукача в этой краткой статье — именно художественное наследие русского классика. Притом оно рассматривается не столько в плане мастерства (к вопросам поэтики, стиля Лукач был и остался довольно равнодушен), сколько в плане социального, идейного содержания. Новаторство Достоевского, значимость его вклада в мировую литературу выясняются с помощью ряда сопоставлений. О какой бы то ни было экзотике тут не может быть и речи: Раскольников встает в один ряд с гетевским Вертером, с героями Стендаля, Бальзака.

Сила и глубина реализма Достоевского, по мысли Лукача, вовсе не в том или не только в том, что он с такой беспощадной правдивостью осветил самые темные углы столичных трущоб: это делали до него и Бальзак, и Диккенс. Но Достоевский первым исследовал калечащее, разрушительное действие капиталистического образа жизни на *душу* человека, на взаимоотношения людей. Принципиально игнорируя психоаналитические трактовки личности Достоевского (до сих пор не вышедшие из моды на Западе), Лукач утверждает, что пристальное и пристрастное внимание художника к уязвленной больной человеческой душе прямо вытекало из острой социальной проблематики его творчества. «... Психическая структура персонажей Достоевского, деформация их нравственных идеалов вырастают из общественного бытия обездоленных в современном большом городе. Возникающие здесь унижения и оскорбления людей — основа их болезненного индивидуализма, их болезненной жажды господства над самими собой и над своими ближними» (142).

Проблема индивидуализма в необычайно резкой и философски углубленной постановке — существенный момент новаторства Достоевского. «Отъединенность индивидуума, ставшего одиноким, от

¹⁰ Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. С. 766.

жизни народа — решающая, главная тема литературы буржуазного мира во второй половине XIX в. <...> Но даже у самых больших писателей, таких как Флобер или Ибсен, раскрывались скорей морально-психологические последствия этого явления, чем его общественная основа. Только в России у Толстого и Достоевского эта проблема ставится во всю ширь и во всю глубину» (143). И Толстой, и Достоевский, говорит Лукач, отразили, каждый по-своему, распад старых устоев русской жизни. Достоевский по-своему показал психологические следствия оторванности людей из высших классов от жизни народа. «Праздность, жизнь без труда влечет за собой трагическую или гротескную, чаще всего трагикомическую обращенность души к самой себе. Будь то Свидригайлов, Ставрогин или Версильев, будь то Лиза Хохлакова, Аглая Епанчина или Настасья Филипповна: всегда у Достоевского праздная или в лучшем случае бессмысленно деятельная жизнь людей — основа их безнадежного одиночества» (143). Тут названы подряд персонажи очень разные, и нетрудно оспорить известную произвольность такого подбора имен. Однако справедлива мысль ученого о том, что обостренно критический взгляд Достоевского на людей, принадлежащих к общественной верхушке, представляет «плебейскую черту» его мироощущения, резко отличающую его от его иностранных литературных современников. В западной прозе второй половины XIX—начала XX в., от Гюисманса и Бурже до Пруста — «культ внутренней жизни раскрывается как привилегия высших общественных слоев в противовес грубо-земным конфликтам низших» (144). У Достоевского, напротив, сложность душевного мира — ни в коем случае не монополия аристократов. Для него подлинный, неподдельный трагизм переживаний, богатство души живет скорей в среде обездоленных. «Перегородки между людьми, созданные в силу общественных условностей», в мире Достоевского рвутся. «... И ужас по поводу одиночества людей встает с неотразимой художественной мощью именно потому, что эта ломка перегородок не в состоянии уничтожить одиночества» (145).

Глубокий смысл творчества Достоевского, утверждает Лукач, подводя итоги, — «бунт против той моральной и душевной деформации человека, которая вызвана капиталистическим развитием. Герои Достоевского бесстрашно идут навстречу социально неизбежному самоуродованию (*Selbstverzerrung*), и их саморазрушение, самоказнь представляет наиболее пламенный протест, какой только мог быть выдвинут против жизненных устоев его времени» (145).

Лукач, как уже было упомянуто, не обходит реакционных сторон мировоззрения Достоевского, выраженных в его публицистике, даже с некоторым нажимом говорит о них. Однако замечает: «Публицист Достоевский хотел бы высказываться в умиротворяющем, консервативном духе, но человеческое содержание, поэтический темп и ритм его речи по существу мятежны и приходят в постоянное противоречие с его коренными политическими намерениями» (145).

Именно стихия мятежа, живущая в душевном мире Достоев-

ского и его героев, таит в себе, по мысли Лукача, то подлинно великое, исторически прогрессивное, что свойственно его творчеству. «Именно здесь загорается свет во тьме петербургских трущоб, свет, озаряющий пути к будущему человечества» (147).

Как видим, работы Вогюэ и Лукача диаметрально противоположны по своим конечным выводам. Так или иначе, думается, что знакомство с этими работами представляет для нас сегодня интерес не только исторический. Обе они оставили свой след в развитии науки о Достоевском.

Уже после того, как статья была сдана в редакцию, я получила возможность ознакомиться с изданной Академией наук ВНР книгой: *Georg Lukács. Dostojewski: Notizen und Entwürfe. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1935.*

Книга эта, подготовленная сотрудниками Архива Лукача при Академии наук ВНР, содержит материалы к его работе о Достоевском, — автор предпринял ее в 1915 г., но не осуществил. Остались черновые наброски, отрывочные записи отдельных мыслей, выписки из разных книг. В сумме эти материалы, местами расшифрованные публикаторами лишь приблизительно, представляют попытку раскрыть творчество Достоевского в сложном контексте литературных, философских, теологических текстов и ассоциаций. Эта попытка оказалась для молодого Лукача непосильной. Но именно из этих ранних занятий Достоевским выросла его «Теория романа». Как пишет комментатор издания И. С. Ниро, «Теория романа» была выражением намерения Лукача «найти из метафизического отрицания буржуазного общества историко-философский выход; но это удалось Лукачу лишь несколько лет спустя благодаря его повороту к марксизму» (указ. издание, с. 26). Материалы неосуществленной книги Лукача о Достоевском представляют сегодня интерес как документы начального этапа идейной эволюции венгерского философа и заслуживают специального изучения именно в этом плане. Но так или иначе они свидетельствуют, что углубленное чтение Достоевского, размышления над ним заняли в духовной биографии Лукача важное место.